

П.А. КРОПОТКИН – КНЯЗЬ АНАРХИСТОВ ВСЕЯ РУСИ

Петр Алексеевич Кропоткин (1842–1921) в разные годы своей жизни слыл большим оригиналом. Но чем бы он не был занят — учебой, военной службой, наукой или революционной деятельностью — он непременно блистал, выделяясь даже на фоне больших талантов, как яркая звезда. Эдакий Сириус на звездном небе.

Рожденный в княжеской семье, глава которой имел 1200 душ крепостных крестьян, он мог бы избрать безбедную долю помещика или светского льва. Будучи сыном и внуком генералов, ему не сложно было бы сделать успешную военную карьеру. Имея редкий аналитический ум и знание бесчисленного количества иностранных языков, он мог бы стать величайшим ученым современности. Легкое перо могло быть залогом яркой писательской или публицистической карьеры. Но Петр Алексеевич осознанно выбрал путь революционера-анархиста. Ошибка юности? Нет. Это был осознанный нравственный выбор.

В 19 лет Петр с отличием окончил самое престижное военное учебное заведение имперской России — Пажеский корпус, каждого выпускника которого государь знал лично. По выпуску он, имея право выбора, не пожелал места в столичном гвардейском полку, а отправился служить в казачьи войска в Сибирь. Начинал офицерскую службу есаулом в Чите. Среди прочих забот на казачество тех мест возлагалась большая работа по изучению Сибири, Дальнего Востока. Молодому офицеру довелось участвовать в нескольких рискованных экспедициях, а через пять лет после начала службы в войсках и возглавлять поисковую деятельность. Обладая поразительной способностью к обучению, он за короткий срок стал высококлассным геологом, картографом, специалистом в области орографии и гляциологии. Возглавляя в 1866 году одну из экспедиций в Сибири, он сделал ряд важных открытий. Один из горных хребтов с тех пор носит официальное название хребта Кропоткина.

Находясь на Востоке империи, молодой офицер проявил особый интерес к Человеку. Ему удалось собрать удивительный материал по социальному устройству бурятов, тунгусов, якутов. Он застал в живых декабристов И.И. Горбачевского и Д.И. Завалишина, общался с ссыльным революционером М.Л. Михайловым.

Не желая быть инструментом подавления народного недовольства, в частности, ссыльных поляков, Петр Алексеевич в 1867 году оставил военную службу и перебрался в столицу империи, в Петербург. Имея за плечами немалый опыт пребывания в отдаленных районах, в том

числе, в Забайкалье, Маньчжурии, он спешил поделиться впечатлениями о них с читателями. Путевые заметки о Сибири и Дальнем Востоке молодой автор публиковал в многочисленных изданиях, в том числе в газете «Московские ведомости», в ее воскресном приложении «Современная летопись», в очень популярных журналах того времени «Русский вестник» и «Записки для чтения».

Уже будучи опытным и знающим специалистом, он не побоялся почти в 25 лет стать студентом физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, совмещая учебу с работой в Статистическом комитете министерства внутренних дел. Его начальником стал выдающийся государственный деятель и знаменитый путешественник П.П. Семенов-Тянь-Шанский. Петр Петрович был не только знатоком окраинной России, но и основателем российской школы науки статистики, которую постигал и П.А. Кропоткин. Полученные знания и практика статистического анализа Петру Алексеевичу пригодились в будущем, когда он проводил сложные социологические исследования, формируя свои научные концепции. Но в пору далеко не полных 30 лет он больше тяготел к географии, которая на протяжении относительно долгого времени была для него главным делом жизни. В 26 лет он стал членом Императорского Русского географического общества, принял должность секретаря отделения физической географии. За подготовленный письменный отчет о сибирской экспедиции был удостоен золотой медали.

Имелись у сложившегося учено-географа интереснейшие «подработки»: написание научно-популярных статей для «Санкт-Петербургских ведомостей» и переводы на русский язык трудов английского философа и социолога Герберта Спенсера и немецкого педагога, либерального политика Фридриха Адольфа Дистервега. Нет сомнений в том, что именно их труды стали во многом для будущего анархиста основанием для размышления о социальных проблемах.

Полностью погрузившись в научную работу, Петр Алексеевич особое внимание уделял исследованию строения горной Азии и законов расположения ее хребтов и плоскогорий. Огромный интерес вызывало у него изучение ледяного покрова Земли. К числу его многочисленных заслуг следует отнести и факт научного обоснования еще не открытой территории, вошедшую, спустя время, во все атласы под названием Земля Франца-Иосифа.

В 1872 году П.А. Кропоткин побывал в Бельгии и Швейцарии, где тесно общался с российскими и зарубежными революционерами. Тогда же он вступил в Юрскую федерацию Первого Интернационала, лидером которой был М.А. Бакунин. Вернувшись в Россию с новыми знаниями и передовым по тем временам представлением об устройстве

общества, Петр Алексеевич активно включился в революционную борьбу, став членом народнической организации «Большое общество агитации», чаще известное как кружок «чайковцев», поскольку им руководил Н.В. Чайковский. Вместе со своими единомышленниками тридцатилетний революционер занимался агитацией среди петербургских рабочих — вчерашних крестьян, стал одним из инициаторов знаменитого «хождения в народ». За революционную деятельность 22 марта 1874 года арестован и заключен в камеру-одиночку Трубецкого бастиона Петропавловской крепости. Император Александр Второй, знавший о научных достижениях П.А. Кропоткина, лично распорядился не препятствовать его научным изысканиям, выдать заключенному бумагу, чернила и перо для работы. В камере ученым-бунтарем был написан великолепный труд «Исследования о ледниковом периоде».

Поскольку условия содержания в крепости были скверные, Петр Алексеевич заболел цингой и его перевели в арестантское отделение Николаевского военного госпиталя, откуда в июле 1874 года он бежал на волю. Через Финляндию и ряд других североевропейских территорий ему удалось добраться до Англии. Началась многолетняя политическая эмиграция, длившаяся до 1917 года. Швейцария, Бельгия, Франция, Англия — далеко не полный перечень стран, где пришлось жить и работать российскому революционеру. В 36 лет ему, наконец, удалось устроить личную жизнь: в 1878 году он встретил в Швейцарии землячку Софью Григорьевну Ананьеву-Рабинович, приехавшую в эту страну из Томска для продолжения образования. Они поженились, у них родилась дочь Александра. Со своей женой он прожил до конца дней. Она была его верным соратником и надежной опорой.

Российские власти не могли вернуть революционера на родину, но контролировать его революционную борьбу в Европе активно пытались, подключая к изоляции П.А. Кропоткина местные власти. В 1882–1886 годах он содержался во французской тюрьме, и только активные протесты общественности обеспечили ему свободу. Из Франции семья Петра Алексеевича перебралась в Англию, где революционер-ученый писал свои труды по теории анархизма, совмещая эту деятельность с сотрудничеством с «Британской энциклопедией» и вторым изданием многотомной «Энциклопедии Роберта и Вильяма Чемберсов». Для них он писал талантливые статьи по широкому кругу проблем, в том числе, связанным с Россией. В конце XIX века он побывал в Канаде и США, где читал лекции по разнообразной тематике, много печатался на английском языке. Наука непременно сопровождала его революционную деятельность. Например, он в тот период сделал вполне обоснованное предположение о геологическом родстве Канады и Сибири, что для того времени тоже было своеобразной «научной революцией».

В XX веке П.А. Кропоткин уже имел мировой авторитет анархиста-теоретика, который высоко ценили в Европе, Америке и Австралии. К его политической позиции прислушивались коллеги из десятков стран. В годы Первой мировой войны он был сторонником сотрудничества Антанты, веря в победу этой военно-политической коалиции.

В мае 1917 года он возвратился в охваченную революцией Россию. 30 мая на Финляндском вокзале его встречали А.Ф. Керенский и соратник по революционной борьбе в молодости Н.В. Чайковский. Вскоре Петру Алексеевичу была предложена «любая» министерская должность во Временном правительстве, но он решительно отказался. Революция была ему по душе, но методы борьбы были чуждыми. Российские анархисты его разочаровали многим, особенно тем, что часто ставили знак равенства между анархией и вседозволенностью.

После Октября 1917 года, проживая в Москве, он решительно отказался от поддержки большевиков и лично В.И. Ленина. Нищета и неустроенность заставили его в июле 1918 года перебраться в подмосковный Дмитров, где он писал свою блистательную монографию «Этика».

В начале 1921 года он заболел воспалением легких, по личному распоряжению В.И. Ленина группа лучших врачей страны пыталась его спасти, но не удалось. 8 февраля 1921 года великого анархиста не стало. Прощание с П.А. Кропоткиным в Колонном зале Дома Союзов было всенародным. В почетном карауле возле гроба стояли в том числе и анархисты, временно выпущенные по этому случаю под честное слово из тюрем. Похоронили мятежного князя на Новодевичьем кладбище.

Уникальность личности Петра Алексеевича бесспорна. Он имел научные достижения мирового уровня более чем в десяти сферах науки, включая историю, геологию, географию, биологию, этику, психологию.

Будучи сторонником философских воззрений Огюста Кюнта и Герберта Спенсера, он создал свой общественный идеал — теорию анархического коммунизма, при котором с помощью революционных методов будет ликвидирована частная собственность и каждый человек станет полноправной частью гармоничного общества.

Личность — душа революции. Возможно, это сердцевина идей блистательного князя всех анархистов России.

*С.Н. Полторак,
доктор исторических наук, профессор,
член Союза писателей Санкт-Петербурга,
главный научный сотрудник научно-исследовательского центра
Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина*

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К ПЕРВОМУ РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Многое из того, что рассказано в этой книге, не ново для русского читателя, а многое из того, что особенно могло бы заинтересовать русского, изложено, может быть, слишком кратко. Но последние годы вымирания крепостного права, никогда не казавшегося таким прочным, как в те годы, затем эпоха возрождения России в шестидесятых годах и, наконец, последовавшие затем «семидесятые годы», годы пробуждения общественной совести среди молодежи по отношению к забитому и обманутому русскому народу, эти три десятилетия так знаменательны в русской жизни и так сильно наложили свой отпечаток на дальнейшую историю нашей родины, что иногда и мелкая подробность личной жизни или общественного настроения имеет свое значение. В некоторых случаях она лучше освещает эпоху, чем целые страницы рассуждений.

Притом же Россия живет быстро за последние полстолетия. Крепостное право и крепостные нравы, с тех пор как пронеслись над нами шестидесятые годы и прошла полоса очистительная, беспощадная критика нигилизма, как будто отошли куда-то очень далеко, в бледную, туманную перспективу времен. Даже великое движение в народ забыто и представляется современной молодежи каким-то сказочным героическим периодом, который можно толковать так же своевольно, как и дела давно минувших лет, относясь к нему то с чуть не религиозным уважением, то с высокомерным презрением «охранителей порядка».

Между тем, как ни далеко отошло от нас в исторической перспективе крепостное право и его обычаи, как ни кажутся нам забыты крепостнически-государственные идеалы, вызвавшие кровавое усмирение восставшей Польши, наследие тех и других еще живо среди нас. Оно не умерло ни в актах правительства, ни даже в складе мысли передовых людей, до сих пор несущей на себе следы тисков крепостного государства. Задачи, поставленные России освобождением крестьян, но брошенные неразрешенными надвинувшеюся реакцией,

стоят и поныне непочатые перед русской жизнью; а идеалы николаевщины по сию пору еще стремятся сызнова водвориться в России.

Громадный шаг, сделанный в начале шестидесятых годов уничтожением личного рабства крестьян и физического истязания «непривилегированных» на лобном месте, — этот шаг, которого все значение могут оценить только люди нашего поколения, забывается понемногу. Крепостной строй, разбитый в 1861 году, вернулся снова в русскую жизнь под покровом новых мундиров, но с теми же приемами, целями и задачами порабощения массы в пользу привилегированных и правящих. Идеал жандармского сосредоточенного сильного государства, который в 1863 году сплотил вокруг престола, против Польши, даже недовольные элементы русского общества, — идеал централистов — опять ожил среди нас. Опять он увлекает тех, кто считает себя призванным руководить судьбами России, опять стоит он на пути развития местной жизни и местной самостоятельности. И, наконец, рабство мысли и раболепие — в науке перед авторитетом, а в жизни перед мундиром, которое так возмущало лучших людей в конце пятидесятых годов и вызвало резкий протест Базарова, — вновь оживают среди нас.

И теперь, как и тогда, несмотря на несомненное пробуждение самосознания среди крестьян и городских рабочих, — даже именно вследствие того, что веками угнетенный крестьянин поднимает голову и сам начинает утверждать свои доселе попранные права на волю, — снова является тот же самый вопрос перед всяким думающим молодым человеком из привилегированных классов, который мы себе ставили тридцать лет назад: «Стану ли я пользоваться своим привилегированным положением и, рассматривая дело освобождения крестьян и рабочих как дело их класса, а не моего, — отнесусь ли я равнодушно к их усилиям? Или же, понимая, что прогресс

в человечестве не разделен, что он возможен только тогда, когда он охватывает всех, и что нищета и угнетение одних ведут за собой нищету духа и рабство всех, — сочту ли я себя простой частицей большого целого и понесу ли я в среду народа те знания, тот свет, ту веру в свободу и освобождение, которые позволили мне стать свободным и побудили стряхнуть с себя ярмо предрассудков и отказаться от наследия рабского прошлого?»

Если эта книга поможет кому-нибудь разрешить этот вопрос, она достигнет своей цели.

Еще два слова. Почему так случилось, что записки русского преимущественно о русской жизни — пришлось переводить другому с английского языка, — требует нескольких слов объяснения.

Начал я писать эти записки, конечно, по-русски. Первая часть «Детство» — была уже написана, когда я попал, осенью 1897 года, в Америку. В Америке я встретился с очень симпатичным человеком Вальтером Пэджем, который был тогда издателем ежемесячного журнала «Atlantic Monthly»¹. Он уговорил меня засесть за мои мемуары, кончить их и начать печатать их в его журнале. Я так и сделал, то есть описал — опять-таки по-русски, но подробнее, чем здесь, — мою юность. Затем для «Atlantic Monthly» я написал все это вновь, в сокращенной форме, по-английски; а потом, когда началось печатание, я успевал писать по-русски только часть того, что должно было войти в каждую книжку, и переходил к английскому тексту.

Когда зашла речь о напечатании группой русских товарищей за границей русского издания «Записок революционера», то возник вопрос: что печатать русский ли текст, более подробный, особенно по русским делам, чем английский, или перевод с английского? Первое представляло, однако, значительные неудобства, так как за отсутствием полного русского текста

¹ «Атлантический ежемесячник».

пришлось бы заполнять значительные промежутки переводами с английского, что, конечно, нарушило бы цельность книги. А так как за русский перевод предложило мне взяться вполне компетентное лицо, то мы остановились на переводе с английского. Мне остается только душевно поблагодарить переводчика за его прекрасный перевод, сделанный им с такой любовью, что он вполне заменяет оригинал.

П. Кропоткин
Июль 1902

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДЕТСТВО

I. Старая Конюшенная

Москва — город медленного исторического роста. Оттого различные ее части так хорошо сохранили до сих пор черты, наложенные на них ходом истории. Замоскворечье, с его широкими сонными улицами и однообразными, серыми, невысокими домами, ворота которых накрепко заперты и днем, и ночью, осталось поныне излюбленным местом купечества и твердыней суровых, деспотических, преданных форме старообрядцев. Кремль и теперь еще является твердыней государства и церкви. Громадная площадь пред ним, застроенная тысячами лавок и лабазов, с незапамятных времен представляла настоящую торговую толчею и до сих пор является сердцем внутренней торговли обширной империи. На Тверской и Кузнецком мосту издавна сосредоточены главные модные магазины, тогда как заселенные мастеровым людом Плющиха и Дорогомилово сохранили те самые черты, которыми отличалось их буйное население во времена московских царей. Каждая часть составляет сама по себе отдельный мирок, со своей собственной физиономией, и живет своей особой жизнью. Даже склады и мастерские, тяжело нагруженные вагоны и паровозы железных дорог, когда последние вторглись в древнюю столицу, и те сосредоточились отдельно, в особых центрах, на окраинах старого города.

И из всех московских частей, быть может, ни одна так не типична, как лабиринт чистых, спокойных и извилистых улиц и переулков, раскинувшийся за Кремлем между Арбатом и Пречистенкой, и известный под названием Старой Конюшенной.

Около пятидесяти лет назад тут жило и медленно вымирало старое московское дворянство, имена которого часто упоминаются в русской истории до Петра I. Эти имена исчезли

мало-помалу, уступив место именам новых людей «разночинцев», призванных на службу основателем русской империи. Чувствуя, что его оттеснили при петербургском дворе, родовитое дворянство удалилось на покой либо в Старую Конюшенную, либо в свои живописные подмосковные имения. Оттуда оно глядело с некоторым презрением и с тайной завистью на пеструю толпу, занявшую высшие правительственные должности в новой столице на берегах Невы.

В молодые годы большинство из них тоже пыталось счастье на государственной, большей частью военной, службе; но в силу тех или других причин вскоре оставляло ее, не добравшись до высоких чинов. Наиболее счастливые (мой отец был в числе их) получали какую-нибудь покойную почетную службу в родном городе; большинство же просто выходило в отставку. [Но в какой бы дальний угол России их ни забрасывала служба, родовитые дворяне все как-то ухитрялись доживать старые годы в собственном доме в Старой Конюшенной, вблизи той самой церкви, где их когда-то крестили и где отпевали их родителей. Церквей в этой части Москвы множество; все они со множеством главков, на которых непременно красуется полумесяц, попираемый крестом. Одни из этих церквей раскрашены в красный цвет, другие — в желтый, третьи — в белый или коричневый, и каждого тянуло именно к своей — желтой или зеленой церкви. Старики любили говорить: «Здесь меня крестили, здесь отпевали мою матушку. Пусть и меня будут здесь отпевать».]

Старые корни пускали новые побеги. Некоторые из них более или менее отличались в различных концах России; иные приобретали более роскошные, в новом стиле, дома в других частях Москвы или в Петербурге; но истинной представительницей рода считалась все та же ветвь, какое бы ни было ее положение в родственном древе, вторая жила возле зеленой, желтой, розовой или коричневой церкви, ставшей дорогой по семейным событиям. К старомодному представителю рода относились с большим уважением, хотя, должен сознаться, не без некоторой примеси легкой иронии, даже те молодые представители

рода, которые покинули свой город и сделали блестящую карьеру в гвардии или же при дворе: старик являлся для молодых олицетворением древности рода и его традиций.

В этих тихих улицах, лежащих в стороне от шума и суеты торговой Москвы, все дома были очень похожи друг на друга. Большею частью они были деревянные, с ярко-зелеными железными крышами; у всех фасады с колоннами, все выкрашены по штукатурке в веселые цвета. Почти все дома строились в один этаж, с выходящими на улицу семью или девятью большими светлыми окнами. На улицу также выходила «анфилада» парадных комнат. Зала, большая, пустая и холодная, в два-три окна на улицу и четыре во двор, с рядами стульев по стенкам, с лампами на высоких ножках и канделябрами по углам, с большим роялем у стены; танцы, парадные обеды и место игры в карты были ее назначением.

Затем гостиная тоже в три окна, с неизменным диваном и круглым столом в глубине и большим зеркалом над диваном. По бокам дивана — кресла, козетки, столики, а между окон — столики с узкими зеркалами во всю стену. Все это было сделано из орехового дерева и обито шелковой материей. Всегда вся мебель была покрыта чехлами. Впоследствии даже и в Старой Конюшенной стали появляться разные вычурные «трельяжи», стала допускаться фантазия в убранстве гостиных. Но в годы нашего детства фантазии считались недозволенными, и все гостиные были на один лад. За большою гостиною шла маленькая гостиная с цветным фонарем у потолка, с дамским письменным столом, на котором никто никогда не писал, но на котором зато было расставлено множество всяких фарфоровых безделушек. А за маленькой гостиной — уборная, угольная комната с громадным трюмо, перед которым дамы одевались, едучи на бал, и которое было видно всяким входившим в гостиную в глубине «анфилады». Во всех домах было то же самое, единственным позволительным исключением допускалось иногда то, что «маленькая гостиная» и уборная комната соединялись вместе в одну комнату. За уборной, под прямым углом, помещалась

спальня, а за спальней начинался ряд низеньких комнат; здесь были «девичьи», столовая и кабинет. Второй этаж допускался лишь в мезонине, выходявшем на просторный двор, обстроенный многочисленными службами: кухнями, конюшнями, сараями, погребами и людскими. Во двор вели широкие ворота, и на медной доске над калиткой значилось обыкновенно: «Дом поручика или штаб-ротмистра и кавалера такого-то». Редко можно было встретить «генерал-майора» или соответственный гражданский чин. Но если на этих улицах стоял более нарядный дом, обнесенный золоченой решеткой с железными воротами, то на доске, наверное, уже значился «коммерции советник» или «почетный гражданин» такой-то. То был народ непрощеный, втершийся в квартал и поэтому не признаваемый соседями.

Лавки в эти улицы не допускались, за исключением разве мелочной или овощной лавочки, которая ютилась в деревянном домике, принадлежавшем приходской церкви. Зато на углу уже, наверное, стояла полицейская будка, у дверей которой днем показывался сам будочник, с алебардой в руках, чтобы этим безвредным оружием отдавать честь проходящим офицерам. С наступлением же сумерек он вновь забирался в свою темную будку, где занимался или починкой сапог, или же изготовлением какого-нибудь особенно забористого нюхательного табака, на который предьявлялся большой спрос со стороны пожилых слуг из соседних домов.

Жизнь текла тихо и спокойно, по крайней мере на посторонний взгляд, в этом Сен-Жерменском предместье Москвы. Утром никого нельзя было встретить на улицах. В полдень появлялись дети, отправлявшиеся под надзором гувернеров-французов или нянек-немок на прогулку по занесенным снегом бульварам. Позже можно было видеть барынь в парных санях с лакеем на запятках, а то в старомодных — громадных и просторных, на высоких, висячих рессорах — каретах, запряженных четверкой, с фореитором впереди и двумя лакеями на запятках. Вечером большинство домов было ярко освещено; а так как ставни не запирались, то прохожие могли любоваться играющими в карты

или же танцующими. В те дни «идеи» еще не были в ходу: еще не пришла та пора, когда в каждом из этих домов началась борьба между «отцами и детьми», борьба, которая заканчивалась или семейной драмой, или ночным посещением жандармов. Пятьдесят лет назад никто не думал ни о чем подобном. Все было тихо и спокойно, по крайней мере на поверхности.

В этой Старой Конюшенной родился я в 1842 году; здесь прошли первые пятнадцать лет моей жизни. Отец продал дом, в котором родился я и где умерла наша мать, и купил другой; потом продал и этот, и мы несколько зим прожили в наемных домах, покуда отец не нашел третий, по своему вкусу, в нескольких шагах от той самой церкви, в которой его крестили и отпевали его мать.

И все это было в Старой Конюшенной. Мы оставляли ее только, чтобы проводить лето в нашей деревне.

II. Смерть матери

Высокая, просторная угловая комната в нашем доме. В ней — белая постель, на которой лежит мать. Наши детские креслица и столики пододвинуты близко к кровати. Красиво накрытые столики уставлены конфетами и хорошенькими стеклянными баночками с желе, и в эту комнату нас, детей, ввели в необычное время — таковы мои первые, смутные воспоминания. Наша мать умирала от чахотки. Ей было всего тридцать пять лет. Прежде чем покинуть нас навсегда, она пожелала видеть нас возле себя, ласкать нас, быть на мгновение счастливой нашими радостями; она придумала это маленькое угощение у своей постели, с которой уже не могла более подняться. Я припоминаю ее бледное, исхудалое лицо, ее большие, темно-карие глаза. Она смотрит на нас и ласково, любовно приглашает нас есть, предлагает забраться на постель, затем вдруг заливается слезами и начинает кашлять. Нас уводят.

Немного времени спустя нас, детей, то есть меня и брата Александра, перевели из большого дома в маленький флигель

во дворе. Апрельское солнце заливает своими лучами комнатку, но немка-бонна мадам Бурман и няня Ульяна велят нам ложиться спать. Лица их мокры от слез. Они шьют нам черные рубашечки с широкими белыми оторочками. Нам не спится. Неизвестность пугает нас; мы прислушиваемся к сдержанному разговору нянек. Они говорят что-то такое о нашей матери, чего мы понять не можем. Мы вскакиваем наконец и спрашиваем: «Где мама? Где мама?» Обе женщины начинают плакать навзрыд, глядят наши кудрявые головки, зовут нас «бедными сиротами». Ульяна не может скрывать больше и говорит: «Ваша мама улетела туда, на небо, к ангелам».

— Как на небо? Почему? — Наше детское воображение напрасно старается ответить на эти вопросы.

Это было в апреле 1846 года. Мне было всего три с половиной года, а брату Саше еще не минуло пяти. Я не знаю, где были тогда старший брат Николай и сестра Елена: по всей вероятности, уже уехали учиться. Николаю шел двенадцатый год, а Лене — одиннадцатый. Они всегда держались вместе, и мы очень мало знали их. Таким образом, мы с Александром остались во флигеле на попечении мадам Бурман и Ульяны. Добрая старая немка, не имевшая ни своего угла, ни души родных, заменила нам мать. Она воспитала нас как могла: от времени до времени она покупала нам простые игрушки, закармливала коврижками, которыми торговал заходивший иногда старый немец, по всей вероятности такой же одинокий бобыль, как и она сама. Мы редко видели отца. Два следующих года прошли, не оставив никакого впечатления в моей памяти.

III. Род Кропоткиных. Отец. Мать

Отец мой очень гордился своим родом и с необыкновенной торжественностью указывал на пергамент, висевший на стене в кабинете. В пергаменте, украшенном нашим гербом (гербом Смоленского княжества), покрытом горностаевой мантией, увенчанной шапкой Мономаха, свидетельствовалось